

КОТКОВ С. И.

ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА

Развитие языка великорусской народности в русский национальный язык пока еще не получило должного освещения в науке. Обусловлено это рядом обстоятельств. Не касаясь некоторых других, обратимся к тем, влияние которых сказывается в последние десятилетия. Разработка названной проблемы невозможна без опоры на исторические данные как северновеликорусского, так и южновеликорусского наречий, а также средневеликорусских говоров и в особенности московской речи. Между тем история русского языка эпохи его национального развития строилась без учета показаний южновеликорусских памятников, поскольку вплоть до пятидесятых годов они не изучались. Невнимание русистов к этим памятникам предопределялось и тем, что до нашего времени сохранились лишь довольно поздние из них — не старше конца XVI в., и тем, что господствовало мнение о сравнительно позднем формировании южновеликорусского наречия. Полагали, что оно сложилось в процессе поздней колонизации Юга, едва ли не полностью запустевшего в результате нашествия степняков, причем новое население Юга составили, вернувшись на землю предков, потомки старых его обитателей, бежавших во время указанного нашествия в прилежащие к Югу с северо-востока, севера и северо-запада места, коренное население которых было инодиалектным и вместе с тем неоднородным в диалектном отношении. Но если, согласно данной концепции, дело обстояло именно так, то в течение трех столетий совместного проживания с ним выходцы с Юга не могли не подвергнуться его диалектным воздействиям. Отсюда неизбежно следовало: порожденное поздней колонизацией разнодиалектного состава, южновеликорусское наречие представлялось лишенным глубоких традиций и, можно сказать, конгломератом, — словом, не совсем органичным в истории русского языка и потому не особенно перспективным для ее исследования. Тем самым южновеликорусское участие в формировании национального языка сводилось к малозначимому и вся история русского языка национального периода становилась крайне односторонней — выступала, собственно говоря, в северносредневеликорусской редакции. Из такого обедненного представления о происхождении русского национального языка вытекало обедненное представление и о его литературном компоненте. Отголосок подобного представления звучит, например, в таком высказывании: «...наш литературный язык, московский по исторической своей основе, на протяжении последних 200—150 лет постепенно, но неуклонно, ослабляет свою связь с чисто московскими особенностями речи, впитывая в известном преломлении соответственные черты в основе северновеликорусского происхождения» [1].

Неосведомленность в южновеликорусских памятниках и, вследствие этого, необоснованное проецирование современных южновеликорусских изоглосс, отдельных фактов и явлений в глубину веков приводили исследователей к выделению некоторых мнимых исторических различий между южновеликорусскими говорами и прочими говорами русского языка.

Так, в ряду лексических различий, которые разграничивают северно- и южновеликорусское наречия, называли противопоставления *изба — хата*, *клеть — пуня*, *волк — бирюк*, *конь — лошадь*, *сарфан — понева*, *вить — доля*, *лонской — прошлогодний*, *живет — бывает*; писали об исто-

рической несвойственности южновеликорусскому наречию слов *овин, тын, кулига, пожня* и *бросать*. Проецируемые в прошлое, эти различия между Севером и Югом (кстати сказать, некоторые из них и для нашего времени небесспорны) оказались недействительными: как выяснилось в процессе исследования памятников южновеликорусской письменности, слова *изба, клеть, волк, конь, сарафан, выть* в смысле «доля», *лонской* в смысле «прошлогодний», *живет* в смысле «бывает», *овин, тын, кулига, пожня* и *бросать* три-четыре века назад у обитателей южновеликорусского края были в общем употреблении [2].

Ныне конструкция «инфинитив + именительный существительного на -а» (*косить трава, земля пахать* и т. п.) знакома большинству говоров северновеликорусского наречия. Бытование конструкции на Севере и присутствие в северновеликорусских памятниках, начиная с XIII в. (при полном отсутствии в ней исторических сведений с Юга: исследование южновеликорусских памятников началось только в последнее время), позволило историкам языка определить ее как северновеликорусскую. Однако южновеликорусские памятники убедительно свидетельствуют о том, что она была органической принадлежностью и южновеликорусских говоров (см. [3]), выходит, являлась общерусской.

Известно, что в южновеликорусских говорах отличный от *e* гласный *ѣ*, который в старинной письменности передавали буквой *ѣ*, ныне произносится как *e*. А. А. Шахматов по этому поводу писал: «... в восточнорусских (южновеликорусских) говорах переход *ѣ* в *e* во всяком положении — это черта, исконно свойственная их вокализму» [4]. Основанное на данных современных говоров заключение А. А. Шахматова стало общепринятым. А когда приступили к изучению памятников, писанных южновеликорусами, ситуация представилась иной: *ѣ* в безударном положении действительно совпал с *e*, но в положении под ударением сохранял отличное от *e* произношение [5, с. 35—52], как в то же самое время и в северновеликорусском наречии и в средневеликорусских говорах. Следовательно, эта фонетическая черта была в то время общерусской. В. Н. Сидоров по этому поводу писал: «Вывод С. И. Коткова о позднем изменении ударяемого *ѣ* в *e* (в южновеликорусских говорах. — К. С.) ... по-видимому, отвечает действительности. Вместе с тем, как мне кажется, он является одним из наиболее интересных и ценных приобретений исторической фонетики русского языка за последнее время. Теперь придется, возможно, пересмотреть заново не один из казалось бы окончательно решенных вопросов истории языка» [6].

Следуя за А. А. Шахматовым, К. В. Горшкова в проявлениях рассматриваемой черты на Юге в XVII столетии видит не отражения общерусского процесса, а влияние московской орфографической школы [7, с. 27]. Такая трактовка указанных отражений вызывает сомнение, и вот почему: в опубликованных нами многочисленных старинных южновеликорусских материалах отражения означенной черты выступают рядом с отражениями таких сугубо диалектных явлений, письменное воплощение которых никак не согласуется с московской орфографией, обличает слабую выучку писцов. В свете этого обстоятельства предполагаемое влияние московской орфографии оказывается настолько выборочным, что в качестве воспринимаемого южновеликорусами немотивированно фрагментарно представляется маловероятным. Конечно, из этого не следует, что влияние московской орфографии в периферийном письме не сказывалось. Но для его установления знания этого факта мало, необходимо еще и знание правописной выучки писцов тех или иных категорий — писцов профессионалов и непрофессионалов, а также знание характера текстов, в которых оно проявлялось.

Примеров неверной интерпретации явлений и фактов языка, неизбежной при отсутствии сведений из южновеликорусских памятников, можно было бы указать немало.

Мешали объективному изучению становления национального языка и некоторые традиционные воззрения. Назовем такие распространенные, как традиционное преувеличение роли церковнославянской книжности, церковнославянского языка в лингвистической жизни русского общества

в XVII столетии, и, напротив, непризнание каких-либо литературных функций, какого-либо литературного значения за вполне развитой в XVII в., огромной в масштабах всей страны и влиятельной русской деловой письменностью. С незнанием последней связано утверждение, что наши предки в XVII в. по-русски только говорили, а писали по-славянски (точнее, по-церковнославянски.— *К. С.*). Утверждение это заимствовано из «Русской грамматики» Г. Лудольфа, изданной в 1696 г. в Оксфорде. Знакомство Лудольфа с русским языком исчерпывалось годичным пребыванием в России. Несмотря на преувеличение роли церковнославянской книжности, церковнославянского языка, полвека назад филологическая традиция не придавала свидетельству Лудольфа абсолютного значения. Характерно в этом отношении высказывание В. В. Виноградова. Касаясь средневекового дуализма в сфере письменно-словесного выражения, В. В. Виноградов писал: «...рост политического значения новых общественных классов (возвышение класса помещиков и развитие торговой буржуазии), не мог не отразиться на соотношении стилей церковно-литературного, общественно-обиходного и официально-канцелярского языков, не мог не усилить притязаний народного языка на более значительную роль в системе литературного выражения» [8]. Более того, по его словам: «...со второй половины XVII в. эволюция русского литературного языка (естественно, и литературной письменности.— *К. С.*) решительно вступает на путь сближения с московским приказным языком и с живой разговорной речью образованных слоев русского общества...» [9, с. 30]. Эти суждения опирались на глубокое знание русской рукописной старины. О развитии отечественной письменности на собственно русской языковой основе не только в XVII столетии, но и в более ранние века, начиная с грамоток на бересте, свидетельствует огромное рукописное наследие, оставленное нам историей, одна лишь изданная часть которого с полной очевидностью показывает, насколько сомнительно утверждение Лудольфа, что русские только говорили по-русски, а писали по-церковнославянски.

И тем не менее, в наши дни эта точка зрения вместе с преувеличением роли церковнославянского языка в лингвистической жизни русского общества обнаруживает признаки своеобразного оживления, наблюдаемого и в исследованиях, и в преподавании истории языка. Так, в университетском пособии читаем: «Литературный язык восточных славян в эпоху средневековья сложился не в результате кодификации какой-либо разновидности местной разговорной речи (диалекта или койне), а в процессе освоения языка старославянских (южнославянских по происхождению) богослужебных текстов, в силу чего он по многим своим особенностям не совпадал ни с одним из восточнославянских диалектов, хотя и взаимодействовал с ними» [10, с. 9]. Выходит, за древние века и старорусский период в течение семи-восьми столетий наши предки не только не выработали своего, русского литературного языка, но и не испытывали потребности в этом, удовлетворяясь церковнославянским. Выдающаяся роль церковнославянского в культурном развитии восточных славян, в формировании их письменной культуры исторически бесспорна, но все же церковнославянский язык оказывался либо недостаточным, либо не вполне приемлемым в некоторых актуальных, особенно специфических сферах жизни восточного славянства, частью и в литературной. В условиях развитой государственности, многообразной общественной деятельности и самобытной духовной культуры Руси, при наличии оригинальной письменности (от берестяных грамоток до летописей и законодательных актов) применение в качестве литературного исключительно церковнославянского языка просто необъяснимо. Поскольку в других европейских странах ничего подобного не было, а восточнославянский регион не выпадает из общеевропейской области, подобная «уникальная» ситуация в нем представляется по меньшей мере сомнительной.

Нелишне напомнить, какой язык (вполне понятно, не диалектный, а общерусского употребления) представлял «московитов» тогда на Западе. Свидетельства иностранцев, — констатирует М. П. Алексеев, — о хорошем или удовлетворительном знакомстве с русским языком (заметим: не

с церковнославянским. — К. С.) «...между XV—XVII столетиями становятся столь изобильными, что их было бы здесь трудно перечислить со всей полнотой. В этот период продолжается, притом очень интенсивно, в Новгород, Пскове, в северных приморских городах, а затем и в Москве, профессиональная подготовка иноземных переводчиков с русского языка, посылаемых туда торговыми фирмами разнообразных государств. Из русских городов они возвращались к себе на родину, хорошо владея навыками не только устной, но и письменной русской речи. Большое количество документальных свидетельств этого рода растягивается, примерно, на три века. Ганзейские документы XIV—XV столетий приводят даже многие имена подобных толмачей...» [11].

Язык русской деловой письменности с точки зрения его отношения к русскому литературному языку основательному изучению не подвергался, поэтому деловая письменность воспринималась смутно, в общем виде, недифференцированно. Достаточно указать на то, что в филологической среде к грамотам нередко причисляют тексты, которые грамотами не являются, или челобитными называют иные деловые бумаги, например, отписки или грамотки. Впрочем, нечто подобное наблюдаем и у историков: берестяные письма-грамотки они именуют грамотами. Поскольку литературный язык отождествлялся, во-первых, с церковнославянским, во-вторых, по преимуществу с языком художественной литературы, всю письменность делового содержания считали, как мы говорили ранее, нелитературной, отрицали ее активную роль в формировании литературного языка. Между тем, даже самое общее, элементарное различие в ее составе хотя бы актовой, хроникальной (см. [12]) и эпистолярной серий текстов показывает всю неправомерность подобной оценки данной письменности, подобного мнения о ней. О неправомерности такого мнения свидетельствует, далее, и то, что в одной и той же серии текстов, скажем, эпистолярной, находим и несродные литературным и, напротив, близкие к литературным тексты. Неоднородны в этом отношении и актовые материалы: если сказки простого люда далеки от литературного изложения, то Судебники XV—XVI вв. и Уложение 1649 г. обладают определенной литературностью. Статейные списки исследуют специалисты по древнерусской литературе (см. [13]). Литературность свойственна и вестям-курантам: во всяком случае стремление к ней вполне рельефно проявляется в редактировании этих текстов [14].

Выведение всей деловой письменности XV—XVI вв. за пределы литературного функционирования мотивируют прежде всего тем, что язык ее не кодифицирован, а осуществление кодификации усматривают в появлении грамматик и словарей. В то же время в литературном значении для древнего восточного славянства церковнославянского языка (и соответственной письменности) никто не сомневается, хотя зачатки его словарей известны только с конца XIII в., а его грамматики появились намного позднее. Предвидим возражение: кодификация этого языка в основном воспринята в готовом виде, восходит к унаследованной восточными славянами кодификации старославянского языка. Да, это бесспорно. Но и унаследованная кодификация в свое время начиналась не с составления грамматики и словаря (ее формальное закрепление в них происходило значительно позднее), а складывалась узуально — в процессе и канонизации текстов, писанных на старославянском языке, и многовекового, в общем стабильного воспроизведения этих текстов. Сходное положение наблюдаем и в истории русского извода старославянского языка — языка церковнославянского. Черты, характеризующие последний, привнесенные в него восточными славянами, складывались узуально, а затем получали закрепление в грамматиках и словарях. Так, списки грамматических сочинений, которые обращались на Руси, относятся к XV—XVI вв., причем наиболее ранние сочинения имеют южнославянский источник, а некоторые подвергаются сознательной переработке на русской почве (см. [15, с. 5]). Краткая славянская грамматика, создание которой связывали с Иоанном Экзархом (X в.), создана, по-видимому, не этим автором, а позднейшим компилятором [15, с. 5—6].

Итак, закрепление литературных норм в грамматиках и словарях является итоговым и, вследствие этого, не единственным фактором преобразования языка в литературный, не единственным признаком его литературности. Кодификация в грамматиках и словарях завершает его преобразование в литературный, а не начинается с этих регламентирующих установлений. В процессе становления литературного языка регламентирующим фактором выступает прежде всего общественное признание в качестве более предпочтительных, а затем и образцовых тех или иных норм языка. Огромная заслуга составителей первых грамматик и словарей заключается не столько в узаконении этих, литературных, норм (в процессе регулярного и активного употребления узואльным образом они узаконены общественным сознанием), сколько в авторитетном обобщении их в грамматиках и словарях. Поэтому начало становления русского литературного языка, ориентирующего на живую речь, вряд ли возможно связывать с появлением в тридцатых годах XVIII в. грамматики В. Е. Адогурова [16]. Достаточно явственные следы становления русского литературного языка национальной эпохи обнаруживаются в более раннее время — в определенных разновидностях обширной деловой письменности (в основном в актовй и хроникальнй), точнее, в ее московской сфере, в XVI—XVII вв.

При сведении понятия «литературный язык» к языку преимущественно художественной литературы объективная разработка проблемы образования русского национального языка едва ли не столь же затруднительна, как и при сведении литературного языка к языку церковнославянскому. При таком понимании литературного языка исследуемого периода в сферу этого языка попадает значительная часть произведений церковно-книжной письменности и, напротив, остается за его пределами не менее значительный состав произведений деловой письменности, поскольку не находят в нем того, что можно было бы назвать, вслед за Г. О. Винокуром, стремлением к литературности изложения. В представлении Г. О. Винокура рядом с литературным стилем письменного языка того времени «Московская Русь знала и другой его стиль — деловой. Этот стиль речи принято называть приказным языком, так как наиболее типичные его образцы находятся в приказном делопроизводстве XVI—XVII вв. Это, следовательно, язык канцелярских бумаг, юридических актов, хозяйственных записей, официальной и частной переписки, то есть таких явлений письменности, в которых нет стремления к литературности изложения» [17]. Действительно, в хозяйственных записях и в грамотках частной переписки такое стремление не проявляется, а в государственных юридических актах, статейных списках и вестях-курантах литературность изложения проступает. Это свойство вторых определялось не столько стремлением к литературности, возможно, впрочем, и порой в достаточно ярких проявлениях, при составлении подобных разновидностей текстов, сколько спецификой данных текстов — строгой регламентацией их структуры и точностью заложенной в них информации, что обыкновенно выражалось в более или менее определенном составе образующих их лексических средств и синтаксических конструкций, например, в составе устойчивых оборотов и терминологических образований. Отмечаемое ныне в научной литературе влияние языка деловой письменности на язык художественной литературы XVI—XVII вв., по-видимому, имело своей предпосылкой и стремление к литературности изложения, и владение этой литературностью в среде наиболее образованных московских приказных людей — авторов государственных актов, статейных списков, исходивших из московских приказов, в частности, из Посольского. «... с XV в., а особенно в XVI—VII вв., — констатировал В. В. Виноградов, — все усиливаются процессы литературно-языковой обработки разных форм приказно-деловой речи, и деловая речь, по крайней мере в известной части своих жанров, уже выступает как один из важных и активных стилей литературного языка. Вместе с тем все возрастает роль этого делового стиля в языке художественной литературы» [9, с. 278].

Определение языка деловой письменности как приказно-деловой речи

(предпочтительнее было бы: языка) имеет основание лишь в той степени, что все деловое письменное общение не укладывалось в приказное. Думается, следует говорить о языке деловой письменности, а в ее составе выделять, как сказано выше, актовую (приказную в строгом смысле слова), хроникальную и эпистолярную. В процессе обслуживания почти всех и особенно актуальных потребностей общества в языке деловой письменности XVI—XVII вв. вырабатывались такие возможности общерусского общения, прежде всего лексические и жанрово-стилистические, что язык указанной письменности становился важнейшим объединительным фактором в начальную пору формирования русского национального языка, ограниченно связанным, с одной стороны, с народно-разговорной стихией, с другой, с культурой литературного языка. Таким широким диапазоном связей с иными факторами национального лингвистического развития не обладали ни церковнославянский, ни народно-разговорный язык, почему формирование литературных норм в это время определялось главным образом влиянием языка деловой письменности.

Правомерно было ожидать: большое значение в начальном развитии русского национального языка культуры деловой письменности привлечет к ней пристальное внимание историков-русистов. Однако этого не произошло. По словам В. В. Виноградова, до сих пор включение приказно-делового языка «в строй и нормы русского национального литературного языка» не подвергалось «специальному детальному историческому исследованию...» [9, с. 273].

Не благоприятствовала выяснению процесса образования русского национального языка и традиционная оценка основных источников, на которых строится история языка. А. А. Шахматов в качестве таких источников называл народные говоры, А. И. Соболевский предпочитал памятники письменности. Дальнейшее рассмотрение этого вопроса предварим следующим замечанием: с точки зрения лингвистического источниковедения народные говоры сами по себе, в своей непосредственной данности источниками не являются, источниками, строго говоря, являются их запечатления, либо опосредствованные — инструментально-физические, либо опосредствованные — графические. Былое состояние русского языка отложилось в опосредствованных запечатлениях — памятниках письменности. В последние два десятилетия отношение русистов к той и другой категории источников более или менее выровнялось, но появление концепции диалектного языка, предложенной Р. И. Аванесовым, повлекло за собой возвращение к А. А. Шахматову.

Выделяя в качестве основных источников современные диалектные, авторы подобного рода суждений усматривают в них более полную фонетическую и грамматическую информацию в сравнении с аналогичной информацией, заключенной в старинных текстах. Между тем, в современных народных говорах рассеяны лишь весьма отдаленные и более или менее редкостные отзвуки древнего состояния языка. К тому же вскрываются заметные расхождения в локализации ряда существенных явлений и отдельных языковых фактов на одной и той же территории, например, в XVII столетии и в наше время. Некоторые примеры таких расхождений мы указали выше (география отличного от *e* гласного, передававшегося буквой *ѣ*, конструкции «инфинитив + именительный существительного на -а», слова *лонской* и т. д.).

Расчленение истории языка не столько на взаимодействующие, сколько на параллельные процессы развития диалектного языка и развития литературного языка предопределяет и своеобразное отношение сторонников концепции диалектного языка к памятникам письменности. Вот как оно обосновывается: «Литературный язык восточных славян в эпоху средневековья сложился не в результате кодификации какой-либо разновидности местной разговорной речи (диалекта или койне), а в процессе освоения языка старославянских (южнославянских по происхождению) богослужебных текстов, в силу чего он по многим своим особенностям не совпадал ни с одним из восточнославянских диалектов, хотя и взаимодействовал с ними. Поэтому для историка восточнославянского и народ

но-разговорной речи во всем ее диалектном многообразии материал письменных памятников — это только источник (а не объект исследования. — К. С.), из которого он извлекает отдельные факты, требующие территориально-диалектной интерпретации, чтобы оценить их отношение к реконструируемой системе диалектного языка эпохи создания текста» [10, с. 9].

Итак, любой старинный текст, который привлекают для изучения истории диалектного языка, признается только источником, а не объектом исследования. Но если извлекаемые из него отдельные факты языка требуют «территориально-диалектной интерпретации», да к тому же и оценки их отношения «к реконструируемой системе диалектного языка эпохи создания текста», без основательного познания источника, без признания его объектом исследования явно не обойтись. Напомним, кстати, что один из авторов цитируемого пособия (К. В. Горшкова) высказывалась прежде в том же духе, когда, например, утверждала: «...письменный памятник может быть использован как источник не в виде набора случайных отдельных фактов, а в результате сплошного, целенаправленного изучения всей совокупности явлений и планомерного перехода от графико-орфографического уровня к фонологическому и далее, если это соответствует задачам исследования, к морфологическому, словообразовательному и другим уровням» [7, с. 24—25]. Всестороннее исследование источника во всем его объеме, с учетом даже внешних условий, в которых происходило возникновение и функционирование (правописных норм соответственного времени, а также выучки писцов, делопроизводственного обихода и т. д.), необходимо для интерпретации и совокупности заключенных в источнике лингвистических данных — сведений о явлениях языка, наречия или говора (изучение указанных данных предполагает изучение фактов языка), составляющих лингвистическую содержательность источника, и отдельных фактов языка, составляющих его лингвистическое наполнение.

Факты, которые составляют лингвистическое наполнение источника, пока не исследованы в его контексте, остаются лишь его принадлежностью и не могут быть признаны свойственными тому лингвистическому образованию — языку, наречию или говору, — которое в нем запечатлено; ф а к т ы, исследованные в таком контексте и на основе подобного исследования признанные свойственными этому образованию и обобщенные по однородным признакам, становятся лингвистическими д а н н ы м и, совокупность которых составляет лингвистическую содержательность источника. Словом, отдельные факты языка, не исследованные в контексте всего источника, в общем не могут быть доказательными для выявления запечатленного в нем языка, наречия или говора. Выходит, лингвистическое наполнение наглядно, но еще не доказательно, лингвистическая содержательность не наглядна, однако доказательна.

Обратимся к конкретным старинным фактам, например, к написаниям буквы *e* в соответствии с древними написаниями *ѣ* в безударных положениях. Одни историки русского языка объясняют эти факты влиянием московской орфографической школы, другие усматривают в них отражение фонетического явления. Перед нами — отказные документы, писанные в Елецком уезде в середине XVII в. церковным («егорьевским») дьячком Афонькой Лукиным (см. [18]). Почти во всех безударных положениях в соответствии с древними написаниями *ѣ* Афонька выводит букву *e*. Создается впечатление: Афонька следует определенной норме. Его принадлежность к церковным дьячкам (дьячками называли тогда писцов, нецерковные дьячки именовались земскими) усиливает это впечатление — он мог быть осведомленным не только в писцовой практике, но и в церковной книжности, орфографически более или менее выдержанной, где подобного рода написания также применялись. Предполагаемую норму — написание *e* вместо древнего *ѣ* в безударных положениях — как будто нарушают *б* написаний *ѣ* в безударном положении после *ц* в словах *цѣловальник*, *цѣлованье*, но их нетрудно отнести: грамоте их постоянно встречали и в церковной книжности (*цѣлование*), и в деловой письменности (*цѣловальник*) и могли заучить в правописном виде. Трижды написанное Афонькой *подѣ*, не согласуемое в отношении ударения с современным

общерусским *подле*, выпадает из предполагаемой нормы (сохранение *ѣ* в положении под ударением и замена его буквой *е* в безударном положении), но согласуется с ней по данным других отказных текстов как диалектное образование. Ср. в упомянутом издании южновеликорусских отказных книг: а усада *ѠедосѠ в той ево пашни... падлѣ верха васлѣ Микиты Дамашова* (154); в том же издании написание *подлѣ* вдвое употребительнее написания *подле* — с *ѣ* насчитываем 42, с *е* — 19 случаев. Напомним: в московских вестях-курантах первой половины XVII в. употребительность того и другого написания была примерно одинаковой (см. [19, 14, 20, 21]). Исходя из этого сравнения московских и южновеликорусских данных, мы вправе сделать вывод: значительное преобладание написаний *подлѣ* в южновеликорусской области обязано местному — фонетическому, а не московскому — правописному узусу. Убедительно подтверждает этот вывод сопоставление в названных отказных книгах южновеликорусскому варианту *подлѣ* (в произношении *падлѣ*) таких отражений местной речи, как, например, яканье, взаимная мена *ѡ* и *у*, написания *Лиркя* и под. Принимаем во внимание и то, что предлоги *дле* и *зле*, появление которых можно связать с особенно сильной редукцией *о* в предударном положении и последовавшей вместе с ней частичной утратой стечения согласных в образованиях *подле* и *возле*, имеют широкое распространение именно в южновеликорусских говорах (см. [22]).

Итак, в разрозненном восприятии, вне контекста источника, а порой и серии однородных источников, рассматриваемые факты языка, точнее, их графические запечатления представляются мотивированными лишь орфографией, лишенными фонетического значения; воспринимаемые в контексте источника, а порой и серии однородных источников, те же самые запечатления представляются связанными с фонетикой, приобретают фонетический смысл.

Фонетическое объяснение неодинаковых проявлений в старинной южновеликорусской письменности этимологического *ѣ* подтверждают случаи его передачи посредством буквы *и* в положении под ударением, преимущественно перед мягким согласным: я ему в том вирила, шти видер (пива), диверь Офонасеи, двѣ клити, он... мене изувичил, подмитил на мнѣ денги; ливоя (ухо) [5, с. 44—45]; в отказных книгах: Сиверского Данца (17), Сиверск [оe] верхоя (18), на ѡтдила (83), всии той земли (94), помишниковы (125), с помишки (174), со всеми угодя (213), со всеми угоди (265, 266), со всеми Угоди (268), вси три поля (271); чимъ влодѣли (158), чим владѣль (261); ср.: *ѣ* исправлено, вероятно, из *и* — велѣнью (99), *ѣ* исправлено из *и* — Сила Пересвѣтов (270), а также — *ѣхъ* помѣсю (229), *ѣхъ* помѣсьем (231) (см. [18]). Эти свидетельства отличного от *е* качества *ѣ* в подударном положении выступают, как правило, в контекстах иных южновеликорусских проявлений, а это бесспорно подтверждает принадлежность писцов к южновеликорусам.

Можно было бы привести и другие сомнительные заключения, построенные на отдельных фактах языка, вернее, их запечатлениях, но в этом нет необходимости. Так или иначе, несомненно одно: отдельные, разрозненные запечатления обыкновенно лишь иллюстрируют то, что уже установлено, и не вскрывают подлинного характера обозначаемых ими явлений, почему и не имеют объяснительной силы. Объяснительная сила запечатлений формируется в процессе их обобщения и отграничения от инородных в сфере лингвистической содержательности источника, а не его лингвистического наполнения. Если исходить из того, что объяснение всегда системно, оно, естественно, вытекает не из лингвистического наполнения как простой с у м ы запечатлений, а из лингвистической содержательности как с и с т е м ы запечатлений. Чем менее в исследовании объяснительного аспекта, тем менее оно исторично. Изучение «диалектного языка» по памятникам письменности «принципиально» замыкается в пределах их лингвистического наполнения и, поскольку сводится к иллюстрированию показаний современных народных говоров, далеко от историзма. Подлинная история русского языка не может быть «задана» и, следовательно, ограничена проблематикой современных народных говоров.

Как видим, использование источников органически связано с общей концепцией истории русского языка, в особенности литературного. История русского литературного языка в последние десятилетия превратилась в арену не только научных, но и выводимых из них идеологических коллизий. Получило известное распространение вольное или невольное принижение роли собственно русского начала (устного или письменного) в формировании русского литературного языка. Так, Б. Унбегаун заявляет: «У восточных ... и южных славян... старославянский язык стал средством для выражения всей духовной деятельности — богословия, философии, науки и литературы, т. е. стал тем, что условно именуется литературным языком в широком смысле слова... Существование у восточных и южных славян в течение многих веков двух письменных языков с разными функциями — церковнославянского... и своего национального — общеизвестно и споров не вызывает. Единственное, что может и должно вызвать возражение, это присвоение утилитарному — юридическому и административному — языку литературного языка» [23, с. 330]. Далее: «В ... московский период — с XV до середины XVII в. — ... не приходится говорить о существовании русского литературного языка, отличного от церковнославянского» [23, с. 331]. К сожалению, сходную точку зрения мы находим в трудах не только западных ученых, но и наших исследователей.

Если отношение разговорного начала в виде диалекта или койне к формированию литературного языка изображается таким образом, упоминание о взаимодействии между ними вызывает недоумение. Между тем такое взаимодействие и в далеком прошлом и в наши дни — повседневная определяющая реальность. Объясняется это следующим: диалект или койне никогда не функционируют как исключительно или преимущественно диалектные образования, а всегда выступают прежде всего в качестве конкретной реализации общенародного языка, в виде осложненного местной вариативностью его неперемного звена, а в особо благоприятных условиях ложится в основу формирования разновидности данного языка. Так, московское койне XVII—XVIII вв. послужило основой формирования устной разновидности литературного языка. отождествляя, вслед за Унбегауном, литературный язык донациональной эпохи с языком церковнославянской книжности, сторонники концепции диалектного языка, так же, как и Унбегаун, отрывают историю литературного языка восточного славянства от его живой общенародной стихии, ориентируясь главным образом на показания современных народных говоров и церковнославянской книжности. В показаниях подобного рода история русского языка как живого общенародного явления представляется существенно ограниченной. Исследование русского языка в его историческом развитии именно как такого явления, а не только как собственно диалектного, невозможно без обращения к источникам, которые в историческом изображении в тех или иных отношениях представляют его значительно шире, нежели современные диалектные записи и данные церковнославянской книжности. Имеем в виду материалы буквально необозримой актовой письменности, а также эпистолярной и хроникальной и художественные произведения русского обличья.

Рассмотрение некоторых аспектов истории русского языка показывает: для решения ее кардинальных вопросов, особенно имеющих существенное идеологическое значение, необходимо, помимо применения новых и усовершенствования старых методов исследования, расширение и более глубокое познание ее источниковой базы — значительное пополнение круга источников и подлинно исторический подход к интерпретации их свидетельств, а также дифференцированное изучение разновидностей старинной деловой письменности, в особенности связей этой письменности, с одной стороны, с народно-разговорным, с другой, с литературным языком. Пора приступить к обстоятельному изучению возвышения отдельных ее категорий до ранга литературных и освещению ее влиятельного участия в формировании национальной языковой общности, включая сферу литературного языка.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Обнорский С. П.* Избранные работы по русскому языку. М., 1980, с. 246—247.
2. *Котков С. И.* Вопросы истории русского языка в свете некоторых данных южно-великорусских памятников.— В кн.: Вопросы образования восточнославянских национальных языков. М., 1962, с. 31—49.
3. *Котков С. И.* Конструкция типа «земля пахать» в истории южновеликорусских говоров.— ИАН ОЛЯ, 1959, № 1.
4. *Шахматов А. А.* Курс истории русского языка. Ч. II. СПб., 1911—1912, с. 233.
5. *Котков С. И.* Южновеликорусское наречие в XVII столетии. (Фонетика и морфология). М., 1963.
6. *Сидоров В. Н.* Из русской исторической фонетики. М., 1969, с. 25.
7. *Горшкова К. В.* Историческая диалектология русского языка. М., 1972.
8. *Виноградов В. В.* Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX веков. 3-е изд. М., 1982, с. 11.
9. *Виноградов В. В.* Избранные труды. История русского литературного языка. М., 1978.
10. *Горшкова К. В., Хабургаев Г. А.* Историческая грамматика русского языка. М., 1981.
11. *Алексеев М. П.* Русский язык в мировом культурном обиходе.— ВЯ, 1984, № 2, с. 10.
12. *Котков С. И.* Лингвистическое источниковедение и история русского языка. М., 1980, с. 74.
13. Путешествия русских послов XVI—XVII вв. Статейные списки. М.—Л., 1954.
14. Вести-Куранты. 1645—1646, 1648 гг. Изд. подгот. Тарабасова Н. И., Демьянов В. Г. Под ред. Коткова С. И. М., 1980, с. 10.
15. *Кузнецов П. С.* У истоков русской грамматической мысли. М., 1958, с. 5.
16. *Успенский Б. А.* Первая русская грамматика на русском языке. М., 1975, с. 4.
17. *Винокур Г. О.* Избранные работы по русскому языку. М., 1959, с. 64.
18. Памятники южновеликорусского наречия. Отказные книги. Изд. подгот. Котков С. И., Коткова Н. С. М., 1977, с. 90—91, 95—96.
19. Вести-Куранты. 1600—1639 гг. Изд. подгот. Тарабасова Н. И., Демьянов В. Г., Сумкина А. И. Под ред. Коткова С. И. М., 1972.
20. Вести-Куранты. 1642—1644 гг. Изд. подгот. Тарабасова Н. И., Демьянов В. Г., Сумкина А. И. Под ред. Коткова С. И. М., 1976.
21. Вести-Куранты. 1648—1650 гг. Изд. подгот. Демьянов В. Г., Бахтурина Р. В. Под ред. Коткова С. И. М., 1983.
22. Словарь русских народных говоров. Вып. 8. Л., 1972, с. 69; Вып. 11. Л., 1976, с. 287.
23. *Унбегаун Б.* Русский литературный язык: проблемы и задачи его изучения.— В кн.: Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти академика Виктора Владимировича Виноградова. Л., 1971, с. 330.